

Гегель и Достоевский: хаосмос «разорванного сознания»

От «Племянника Рамо» к «Феноменологии духа»

Для философского осмысления созданной Достоевским художественной феноменологии криминального духа важное значение имеет гегелевский концепт «разорванного сознания».

Представляет интерес то, как сам Гегель вышел на эту проблему. В 1805–1806 годах он знакомится с опубликованным в переводе Гете диалогом Дидро «Племянник Рамо». Образ главного героя, родственника композитора Ж.Ф. Рамо, произвел на философа довольно сильное впечатление тем, что был построен на резком контрасте между трагической сущностью его распадающегося внутреннего «я» и цинически-игровой манерой внешнего поведения.

Внешне Рамо предстает как паяц, шут, вытанцовывающий «гнусную пантомиму» и откровенно заявляющий: «Забавно кривляется мое лицо и еще забавнее кривляется моя мысль».⁴⁷ Но подобные кривляния для Рамо отнюдь не самоцель. Их смысл он видит в том, чтобы срывать покровы лицемерной куртуазности с тех, кто ею прикрывает свои истинные лики. Там, где повсюду за благопристойными масками и ролями прячутся распутники и негодяи, Рамо берет на себя смелость заявить, что он точно такой же, как и они, но только без маски.

То, что в бравадах Рамо низменная сущность цинизма как бы всплывает на поверхность и становится чувственно

⁴⁷ Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. М., 1973. С. 213.

осязаемой, оборачивается парадоксом: лицемерная игра большинства воспринимается как нечто вполне приемлемое и закономерное, а его естественный эгоизм вызывает впечатление нарочитой игры, намеренного эпатажа. И это оттого, что в поведении его героя, как пишет Дидро, «было много такого, что обычно думают, чем руководствуются, но чего не говорят. Вот, в сущности, в чем самое резкое различие между моим собеседником и большинством наших ближних... Он был не более и не менее отвратителен, чем они; он был только более откровенен и более последователен в своей испорченности...»⁴⁸.

Сам Рамо так представляет свою позицию намеренно-откровенного имморализма: «Помните, что в области, столь изменчивой, как нравы, нет ничего верного или ложного в полном, существенном, всеобъемлющем смысле слова, кроме того, что следует быть таким, каким выгодно быть — то есть добрым или злым, мудрецом или шутом, благопристойным или смешным, честным или порочным».⁴⁹

Гегель, размышляя над диалогом Дидро, увидел в шутовских вывертах Рамо не просто игру острого и своевольного ума, а «язык разорванности», а с ним и саму обнаружившуюся «разорванность» внутреннего «я», в котором «распалось и погибло все, что обладает непрерывностью и всеобщностью, что носит имя закона, добра и права»⁵⁰. Отчужденное от «устойчивых сущностей» и метафизических констант, оно предстает как «сознание извращения», в которое будто вселился некий демон субъективной диалектики, поднявшийся до самоосмеяния и потому неуязвимый.

⁴⁸ Там же. С.245.

⁴⁹ Там же. С. 223.

⁵⁰ Гегель Г.В. Соч. Т. IV. М., 1959. С. 277.

В глазах субъекта «разорванного сознания» сущее утратило свою законоспособность, рухнули былые абсолюты, исчезли устойчивые ценностные координаты и реальность предстала в образе разверзшейся бездны, «бездонной глубины, в которой исчезла всякая опора и субстанция». Противостоять тому, что уже свершилось, бессмысленно. Образ бездны и хаоса успел уже запечатлеться в каждой капле, в каждом атоме сущего. Человеческое «я» и тот язык, посредством которого оно мыслит и общается, — это своего рода зеркало, повторяющее гримасы мирового бытия с его неустранимыми дисгармониями. Для Гегеля «язык разорванности», насыщенный саркастическими парадоксами, — это нечто вроде музыкальной характеристики «разорванного сознания». Резкие звуки, неблагозвучные диссонансы свидетельствуют о безнадежной расстроенности издающего их инструмента.

Если сопоставить высказывания обладателя «разорванного сознания» с обыденными речевыми стереотипами, то они выглядят как бред и безумие. Но «надземные», не «подпольные» обыватели потому и считают себя носителями респектабельной моральности, что примечают лишь одну, внешнюю и привычную сторону существования, не улавливая драматических противоречий бытия. Их позиция — это позиция «образованного безмыслия».

В наследии Гегеля сохранилась примечательная запись-афоризм, свидетельствующая о том, что для него «разорванность» — закономерная мирозерцательная форма, с необходимостью возникающая и распространяющаяся в переходные исторические эпохи: «Заштопанный чулок лучше, чем разорванный; не так с самосознанием».⁵¹

⁵¹ Гегель Г.В. Работы разных лет. В 2 т. Т. 2. М., 1971. С. 548.

Если у человека прямо на глазах разворачивается полномасштабный социально-исторический кризис, сопровождающийся повсеместными радикальными метаморфозами, то его внутренний мир неизбежно, независимо от его воли и желаний начнет превращаться в арену различных контrovers, производных от эпохальных противоречий. Дидро и Гегель, каждый по-своему, обосновали эту мысль, которую Гейне позднее сформулирует в виде афоризма о мире, расколовшемся пополам, и о трещине, проходящей через человеческое сердце.

Самоказнь «усиленно сознающей мыши»

Тема «разорванности» нравственного сознания пришла в романы Достоевского, конечно же, не из гегелевской «Феноменологии духа», а из мира непосредственной «живой жизни». Это, однако, не снимает вопроса об отношении писателя к идеям Гегеля. Сохранились сведения, что Достоевский питал неподдельный интерес к гегелевской философии истории и имел желание основательно с ней ознакомиться. Так, в письме из Сибири от 22 февраля 1854 года он просил брата Михаила прислать ему вместе с «Критикой чистого разума» Канта также «Философию истории» Гегеля. Просьба сопровождалась весьма многозначительной припиской о том, что с этими книгами Достоевский связывает свои будущие творческие планы.

К этому следует добавить, что писатель был знаком с произведениями Прудона, испытавшего на себе влияние идей Гегеля. Нельзя не упомянуть и о многолетних контактах Достоевского с Н.Н. Страховым, знатоком философии Гегеля, переводчиком историко-философских сочинений Куно Фишера о Гегеле.

Все это может служить свидетельством того, что Достоевский, скорее всего, был неплохо знаком с основными положениями философии Гегеля. Но, разумеется, этого недостаточно, чтобы говорить о непосредственном воздействии на писателя идей немецкой классической философии. Если к тому же учесть, что годы творческой продуктивности Достоевского были периодом разложения гегелевской школы, то вероятность такого воздействия становится еще меньше.

Для нас в данном случае важно другое: гегелевский концепт «разорванного сознания» и мировоззренческие контroversы, разрывающие внутренний мир героев Достоевского, запечатлели идентичные социальные и духовные реалии, это дает основание рассматривать результаты философского и художественного анализа противоречий имморального сознания у Дидро, Гегеля и Достоевского с позиций их взаимодополняемости.

Феномен «разорванности» можно обнаружить как неотъемлемый атрибут индивидуального «я» практически у всех героев зрелого Достоевского, чьи образы прописаны с достаточной основательностью. И здесь в первую очередь обращает на себя внимание герой «Записок их подполья». Невозможно не заметить того, что откровения Подпольного господина прямо перекликаются с циническими бравадами племянника Рамо. Они, словно два брата-близнеца, разве что в речах Рамо больше фривольности, что вполне естественно для француза.

Достоевский в оценке своего героя напоминает Гегеля, отмечавшего необходимый характер возникновения феномена «разорванности» в известные исторические эпохи. «Такие лица, — говорится в авторском примечании к «Запискам», — как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв

в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество» (5, 99).

И немецкий философ и русский писатель понимают, что имеют в этом случае дело не со случайным, а необходимым, типовым явлением в духовно-нравственной жизни общества. Говоря языком М. Вебера, оба они, каждый по-своему, выписывают контуры «идеального типа» индивидуального духа, попавшего в исторический разлом, оказавшегося в состоянии предельного отчуждения от самого себя и своей сущности.

Гегелевское определение «разорванности» как «самосознания, которому свойственно возмущение, отвергающее свою отверженность», в полной мере может служить ключом к пониманию внутреннего мира Подпольного господина. Кстати, Достоевский делает шаг в направлении еще большего усугубления этой «разорванности», когда «возмущение, отвергающее свою отверженность», достигает крайней, предельной степени силы и остроты. За зубодробительными парадоксами «усиленно сознающей мысли» временами проглядывает такое неподдельное человеческое страдание, такая боль живой человеческой души, что невольно возникают вопросы: «за что?», «почему?»

Трагедию, разыгрывающуюся изо дня в день в душе неприметного, почти гоголевского, отставного чиновника, мог воссоздать с такой пугающей осязаемостью и развернуть до почти апокалиптических масштабов только Достоевский. Жизнь его «антигероя» превращена в «язвительную насмешку над наличным бытием, точно так же, как над хаосом целого и над самим собой».⁵²

⁵² Гегель Г.В. Соч. Т. IV. С. 282.

В записках Подпольного господина, которые тот по своей воле превратил в «исправительное наказание», главной жертвой, принявшей все возможные кары, оказывается его собственное «я». Будучи и так уже «разорванным», оно подвергается настоящему растерзанию. Единственное, что спасает его от погружения в состояние полного хаоса абсолютной разорванности-растерзанности, это страсть к диалектике парадоксов. Внутреннее «я» не рассыпается в нечто хаотическое из-за того, что повсюду его пронизывают смысловые нити контроверз-антиномий. Они-то и выполняют роль несущих конструкций, и потому самосознание Подпольного господина предстает в виде еще не хаоса, но уже и не космоса, а в образе хаосмоса.

Интеллектуальный авантюризм и дьяволодицея

Понятие хаосмоса, пришедшее в гуманитарный лексикон гораздо позднее, уже в XX веке, благодаря Д. Джойсу, позволяет достаточно точно характеризовать то состояние, в котором пребывает «разорванное сознание». В данном случае это нечто срединное между порядком (космосом) и хаосом, т. е. состояние полураспада ценностных и нормативных структур.

Обладатель внутреннего хаосмоса — герой антроподицеи, вообразивший себя стоящим выше всего сущего и увидевший перед собой необычайно раздвинувшееся пространство свободы. Он обуреваем непомерной гордыней, которая в традиционной, теоцентрической картине мира и культуры занимает первое место в иерархии из семи смертных грехов. Здесь же грех превратился в доблесть, а доблестью стало считаться высокомерное пренебрежение абсолютными запретами и дерзкое своеволие, заставляющее разум оправдывать все, что угодно, даже преступле-

ния. То, что казалось непреложным и незыблемым в прежнем, теоцентрическом микрокосме индивидуального «я», теперь становится сомнительным и зыбким. С отвержением абсолютных критериев воцаряется «шатость» в представлениях о добре и зле, о должном и запретном. Утрачивается истинное понимание человеческого предназначения. Воображаемая свобода от всеобщего нравственного закона заставляет смотреть на всех тех, кто подчиняется ему, как на существ низшего разряда. Иными словами, возникает причудливое сочетание вполне упорядоченных ментальных структур с деформированными и полуразрушенными этическими структурами. Соединение нравственно-этического хаоса с ментальным космосом рассудочно-разумных построений и дает тот причудливый хаосмос «разорванного сознания», на котором сосредоточили свое внимание вначале Дидро и Гегель, а позднее и Достоевский.

Герои Достоевского, обладающие «разорванным сознанием», склонны к рискованным интеллектуальным экспериментам. Риск для них — это не столько психологическая, сколько экзистенциальная потребность, позволяющая им выходить на новые уровни понимания самих себя и бытия в целом.

Европейская традиция оценивала способность человека к риску скорее положительно, чем отрицательно. Она же осуждала пугливую приземленность обывательского существования. Не случайно у Данте души тех, кто провел жизнь в трусливом бездействии, помещены в преддверии Ада, что уже само по себе является для них наказанием. Поэт в своем метафизическом странствии по загробному миру увидел, как эти души неслись в вихре, издавая жалобные стоны и плачущие крики. Вергилий пояснил ему:

... То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел...
И смертный час для них недостижим
И эта жизнь настолько нестерпима,
Что все другое было б легче им.

Их память на земле не воскресима:
От них и суд, и милость отошли.
Они не стоят слов; взгляни — и мимо.

У греков существовало понятие «тимос», означавшее добродетель особого рода, а именно доблесть духовного дерзновения и риска. Героям Достоевского в полной мере присуща авантюристическая готовность к риску в мышлении. Демонстрируя ее, они идут даже на «мыслепреступления», если те обещают им интеллектуальное удовлетворение.

«Мыслепреступление», как наиболее одиозный продукт распада нравственно-правового сознания, представляет собой акт метафизического риска, поскольку предполагает посягательство на абсолюты, оберегаемые авторитетом Бога. Не случайно это посягательство чревато сокрушительным возмездием со стороны высших сил, стоящих на страже святынь. Только мысль, питаемая безумной гордыней, беспредельным самомнением, способна на такую авантюру. Но такие «антигерои», как Подпольный господин, Раскольников, Иван Карамазов, не ведающие «страха Божьего», склонные к «скверномыслию», как раз из тех, кто способен на безумный риск. Весьма характерна в этом отношении позиция Ивана, являющего собой яркий тип метафизика-авантюриста. В пространстве его «разорванного» духа разыгрывается грандиозная метафизическая трагедия, в которой он сам играет роли и мучителя и истязуемого.

С. Булгаков обратил внимание на то, что в «Братьях Карамазовых» отсутствует описание внешности Ивана. К этому следует добавить, у Достоевского нет подробных описаний и внешности Подпольного типа. У читателя данные обстоятельства не вызывают особых вопросов и затруднений. И это похоже на то, как тот же читатель не спрашивает, почему в гегелевской «Феноменологии духа» нет описания внешности субъекта-носителя «разорванного сознания».

С. Булгаков находит верное объяснение данного феномена, говоря о том, что для автора Иван — это прежде всего дух. Достоевскому важны в первую очередь его идеи с содержащимися в них метафизическими смыслами. Обитающие в темных лабиринтах личного подполья, где «все полно демонов», эти идеи определяют черты духа Ивана Федоровича.

«Разорванное сознание», оказавшись во власти ночной души, утратив связь с абсолютами, потеряв структурность и целостность, одновременно теряет и сопротивляемость темным метафизическим силам. Личное «подполье» отважного «мыслепреступника» превращается в итоге в филиал общего Ада и открывает перед ним возможность бесконечно падать в разверзшуюся, бездонную пропасть зла. Алеша верно замечает, что Иван живет с адом в груди и голове и, вполне вероятно, не вынесет этого ада и убьет себя (14, 239).

Когда Ивану явился из глубин его собственного «ада», из подполья его больного духа Черт, это повергло его в смятение. И причина была отнюдь не в том, что Черт явился не с опаленными крыльями, в красном сиянии, гремя и блистая, а в клетчатых панталонах и поношенном пиджаке и предстал воплощением не мировой скорби, а убийственной пошлости. Иван был пока еще на пути к той истине,

которую в «Бесах» старец Тихон высказал в ответ на вопрос Ставрогина и которая гласила, что можно верить в дьявола, не веруя в Бога.⁵³

Где-то в глубине души Иван понимает, что возникший перед ним фантом явился для того, чтобы сыграть роль древних эриний и замучить совесть «мыслепреступника», если не до смерти и самоубийства, то по меньшей мере до сумасшествия.

Казалось бы, рационализм, естествознание и позитивизм давно уже покончили с верой в личного дьявола. Западник Иван категорически отказывается признать существование Черта как объективного метафизического начала и упорно настаивает на том, что его гость — всего лишь плод болезненной галлюцинации. Черт в ответ должен оправдываться и доказывать. В итоге разворачивается дьяволодицея в чистейшем виде самоапологии Духа зла.

Черт утверждает, что определен неким довременным назначением отрицать все и вся. Если бы существовала одна утверждающая сила, на земле присутствовало бы одно лишь благоразумие и звучала только «осанна», то ничего бы не происходило, не случалось бы никаких происшествий, пропали бы страдания, а с ними и удовольствия. В итоге стало бы бесконечно скучно и все бы замерло. Но подобно тому, как в литературном журнале должен быть отдел критики, так и в мироздании должен постоянно пре-

⁵³ Достоевский имел возможность в реальной жизни многократно убеждаться в том, что среди образованной публики очень много людей, не верующих в Бога, которые, однако, верят в черта «с удовольствием и готовностью» (22, 33). И все же это было не так страшно и безысходно, как холодное равнодушие обладателей пустых, выхолощенных душ. Логика его рассуждений в этом вопросе вполне соответствовала логике его героев: для того, чтобы сделать рагу из зайца, нужен хотя бы кролик; для того, чтобы уверовать в Бога, надо верить хотя бы в дьявола. То есть вера в дьявола не закрывала для человека путь к духовному возрождению.

бывать тот, кто ведает отрицанием. «И вот я отрицаю, — говорит Черт, — творю неразумное по приказу и получается жизнь».

За этой игривой редакцией дьяволодицей стоит само небытие, угрожающее бытию, прячется опасность хаоса, мировых катастроф и гигантских трагедий, подстерегающих все то, что на данный момент пребывает в состоянии относительного порядка. То есть любому совершенству грозит разрушение, любая структура обречена распасться. И если бытие в целом несокрушимо, и Бог выступает символом этой несокрушимости, то отдельные частицы миропорядка всегда уязвимы, поскольку существуют на краю бездны небытия и могут в любой момент сорваться в нее.

Если атрибуты Бога — утверждение, созидание, то атрибуты Дьявола — отрицание, разрушение. Дух зла пребывает в максимальном удалении от Бога, на противоположном полюсе. И когда он пытается состязаться с Богом в праве на господство над человеческой душой, его потуги выглядят карикатурными, подтверждая его давнее прозвище — «обезьяна Бога», «карикатура Бога». Поэтому Черт кажется Ивану пошлым кривлякой.⁵⁴ На встречу Ива-

⁵⁴ Мысль о вторичности, подражательности всего того, что исходит от дьявола, звучит в романе «Подросток», когда Тришатов излагает свой замысел оперы. Ему видятся «готический собор, внутренность, хоры, гимны... И вдруг — голос дьявола, песня дьявола. Он невидим, одна лишь песня, рядом с гимнами, вместе с гимнами, почти совпадая с ними, а между тем совсем другое». Впоследствии П. Флоренский, как бы продолжая эту мысль и развивая этот же образ Достоевского, напишет, что умея только коверкать и осквернять, «даже на «черной мессе», в самом гнезде дьявольщины, Дьявол со всеми своими поклонниками не могли придумать ничего иного, как кощунственно пародировать тайнодействия литургии, делая все *наоборот*. Какая пустота! Какое нищенство! Какие плоские «глубины!»» (Флоренский П. Столп и утверждение истины. Т. 1. М., 1990. С. 168).

на с Чертом можно взглянуть как на свидание мыслителя с собственной ночной душой. Принявшая созерцаемый облик, доступный земным очам, она предстала как нечто довольно гадкое и отталкивающее. Здесь как бы ожила архаическая мифологема тени, отделившейся от человека, противопоставившей себя ему и пытающейся его компрометировать и шантажировать.

Когда внутри Ивана звучит голос, доказывающий оправданность позиции отрицателя-разрушителя, то это означает, что идет процесс демонизации его «разорванного сознания». Отдавшись во власть темной силе, подчинившись диктату ночной души, сознание встает на путь, где его ожидает духовное бесплодие, где оно сможет проявлять только свои разрушительные интенции и где преступление предстанет перед ним как наиболее впечатляющая форма разрушительного самоутверждения.

Расплата за всесилие ночной души и бессилие духа оказывается достаточно суровой. Происходит полное помрачение сознания, и ночная душа, уже ни от кого не прячась, откровенно демонстрирует свое бесчинство, заставив Ивана на суде завопить диким, неистовым воплем существа, одержимого темной силой.

Лебядкин как философский тип

Сквозь «разрывы» сознания может проглядывать и проговаривать свои монологи ночная душа. Если она склонна к стихотворчеству, то миру могут явиться строки и образы, демонстрирующие дикое, утробное косноязычие:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства...

За этим виршеплетством, не выдерживающем никакой критики, однако, просматривается нечто весьма серьезное, напоминающее мир Босха, а также десадовско-карамазовскую подпольную среду «сладострастных насекомых», пожирающих друг друга.

В стихах капитана Лебядкина, являющих собой риторическую аномию, слово, бывшее некогда Богом, сбрасывает с себя классические нормативно-ценностные и семантические одеяния и становится темным, мелким бесом, а языковое пространство превращается из «микрокосма» в «микрохаос».

Язык Лебядкина распадается одновременно с его сознанием, все больше напоминая беспорядочные, грубые нагромождения каких-то обломков былых ценностей и смыслов. В нем царят невозможные в нормальной культурной среде словосочетания с разрушенными лексически-семантическими пропорциями. Язык словно агонизирует и готовится окончательно вернуться в состояние донормативного хаоса. Но в этой агонии присутствует не только логика буквальной инволюции, но и динамика надвигающейся трансформации классической культуры в культуру модерна. Лебядкин и не подозревает о том, что в недалеком будущем бессознательные аномалии его стиля превратятся в сознательные нормативы стиля модерн.

За стилем Лебядкина просматривается не только грядущая культурологическая метаморфоза, но и важные социологические проблемы. Абсурдная эстетика странного стихотворца фиксирует трагедию человеческого духа, погружающегося в устрашающий исторический разлом. Абсурдная грамматика со всеми ее изломами — это одна из первых жертв начавшихся гигантских социальных сдвигов. Тектоника социального бытия стала давать невиданные по своим масштабам трещины. Грозные оползни распадаю-

щихся традиционных нормативно-ценностных систем начали погребать под собой и безжалостно перемалывать хрупкие духовные структуры, срывать с культурного сознания тонкие покровы цивилизованности, превращать человека в грубое, косноязычное идеологизированное животное. В сознании этого человека гаснет свет понимания того, что происходит на самом деле с ним и с миром, воцаряются сумрак и хаос. Дневная душа сжимается в некую точку и забивается в самый дальний угол внутреннего мира, уступив право полного и безраздельного господства ночной душе с ее устрашающим рыканьем: «Дыр бул щир убещур...»